

Гуторов В.А.

## О некоторых тенденциях современной теоретической интерпретации революционного насилия

Рубеж XX–XXI веков вполне определенно, даже беспощадно положил конец волне квазипацифистских иллюзий относительно перспектив ненасильственной эволюции формирующегося на наших глазах нового глобального порядка. Волны насилия и террора, захлестнувшие Ближний и Средний Восток, стремительно вторгаются в страны некогда благополучного Запада, порождая политический кризис и всеобщее смятение умов. В декабре 2001 года, оценивая значение террористической атаки 11 сентября, Юрген Хабермас сравнил ее с двумя важнейшими вехами мировой истории — началом Первой мировой войны и Французской революцией: «С началом Первой мировой войны закончилось мирное, в известной степени беззаботное (как видно теперь) время. Начался век тотальных войн, тоталитарного угнетения, механизированного варварства и бюрократического массового убийства. Но только в ретроспективе мы сможем узнать, было ли символическое разрушение цитадели капитализма в южном Манхэттене глубокой цезурой, или эта катастрофа всего лишь подтвердила таким бесчеловечно-драматическим способом давно уже осознанную уязвимость нашей сложной цивилизации. И если здесь не идет речь напрямую о Французской революции, — а ведь Кант тотчас назвал ее “знаковым событием истории”, которое обнаружило “моральную тенденцию в развитии человеческого рода”, — если мы здесь касаемся события менее однозначного, то только реальная история вынесет свой приговор относительно иерархии исторических событий»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 10–11.

Представление о том, что «террористическая ситуация» (Ж. Бодрийяр)<sup>1</sup> и состояние «глобальной войны» (М. Хардт, А. Негри)<sup>2</sup> являются наиболее характерными свойствами современного либерального миропорядка, что глобализация, насилие и терроризм — глубоко взаимосвязанные симптомы всеобщего политического и экономического кризиса, в который мир погрузился на рубеже XX–XXI веков, становится на данный момент чрезвычайно устойчивым в гуманитарных науках, философской и политической публицистике. Центральным пунктом спонтанно возникающих дискуссий является следующий вопрос: насколько обозначенная Бодрийяром «террористическая ситуация» является уникальной в историческом плане? Одним из наиболее перспективных вариантов ответа на данный вопрос является, на наш взгляд, критический взгляд на характер современных философских и общесоциологических споров о природе революционного насилия, довольно рельефно отражающих кризисные тенденции мирового развития.

Еще в 1999 году И. Валлерстайн, занимавший в предшествующие четыре года пост президента Международной социологической ассоциации (ISA), выпустил в свет книгу с весьма характерным названием «Конец мира, каким мы его знаем. Социальная наука для двадцать первого века», в которой, по собственному его признанию, подводились итоги систематического осмысления сложной дилеммы, устанавливающей принципиальное различие между «миром капитализма... обрамляющего нашу реальность» и «миром познания», формирующего понимание окружающей нас действительности<sup>3</sup>. «Я полагаю, — отмечал он в предисловии к своей работе, — что мы заблудились где-то в середине пути, странствуя в темных лесах, и не обладаем достаточной ясностью в понимании того, куда именно нам следует направляться. Я думаю, что мы крайне нуждаемся в том, чтобы вместе обсудить данное обстоятельство, и в том, чтобы дискуссия имела всемирный мас-

---

<sup>1</sup> Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. М., 2016. С. 203.

<sup>2</sup> Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М., 2006. С. 3–54.

<sup>3</sup> Wallerstein I. The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999. P. IX.

штаб. Далее, я верю, что данная дискуссия не относится к числу тех, в которых мы можем разводить знание, мораль и политику по разным углам»<sup>1</sup>. Эти суждения американского социолога в полной мере применимы и для ответов на многочисленные вопросы, которые постоянно возникают в рамках сложной дискуссии, связанной с анализом природы современного насилия и террора, которые до сих пор с трудом поддаются концептуализации. «Насилие, — отмечает С.Н. Каливас, — является концептуальным минным полем, хотя на первый взгляд это понятие может выглядеть интуитивным»<sup>2</sup>. По мнению Ч. Тилли, причина состоит в том, что «хотя не существует никакого универсального закона, управляющего всеми эпизодами коллективного насилия, сходные причины в различных комбинациях и конфигурациях, действуя повсеместно, постоянно его воспроизводят»<sup>3</sup>.

Те же самые проблемы возникают и при любой попытке концептуализации природы террора. Например, одна из особенностей дискуссий о современном терроризме определяется тем, что они с трудом укладываются в научные рамки: водораздел проходит между крайней апологетикой, приравнивающей террористов к «борцам за свободу», «революционерам» и т.п., и постмодернистскими попытками исключить саму проблему из научной повестки дня на том основании, что представления о терроризме постоянно противоречат друг другу и не способны преодолеть «порог субъективности»<sup>4</sup>. Повсеместно возникающие дилеммы в трактовках террористической активности в различных регионах мира связаны с господством в современном политическом дискурсе практик насилия, несвободы и чрезвычайных ситуаций, постоянно подпитывающих риторику «войны с террором». Эти практики сами по себе накладывают ограничения на субъективную свободу сужде-

---

<sup>1</sup> *Wallerstein I.* The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999. P. IX.

<sup>2</sup> *Kalyvas S.N.* The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 19.

<sup>3</sup> *Tilly Ch.* The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 4.

<sup>4</sup> *Wilkinson P.* Terrorism versus Democracy. The Liberal State Response. London, New York: Routledge, 2011. P. 4–6.

ний, способствуя формированию структур «дисциплинарной власти», основные механизмы которой были в свое время всесторонне исследованы в политической философии М. Фуко<sup>1</sup>.

В своей знаменитой работе «Русские мыслители» И. Берлин, характеризуя «психологию русского террора», акцентировал внимание, прежде всего, на национальных особенностях политического менталитета интеллигенции: «Однажды, пытаясь объяснить леди Оттолайн Моррелл русскую революцию, Бертран Рассел заметил, что большевистский деспотизм, каким бы ужасающим он ни был, по-видимому, является подходящим видом правления для России: “Если Вы спросите себя, как должны управляться характеры Достоевского, Вы [это] поймете”. Взгляд, согласно которому деспотический социализм был вполне Россией заслужен, многими западными либералами был бы признан как довольно справедливый, по крайней мере, с учетом романа Достоевского о “бесах”, [т.е.] радикальной российской интеллигенции. По степени собственной отчужденности от своего общества и своего воздействия на него, российская интеллигенция девятнадцатого века была феноменом почти *sui generis*. Ее идеологические вожди были небольшой группой, обладавшей сплоченностью и ощущением собственной миссии, свойственным религиозной секте. Своей неистовой моральной оппозицией существующему порядку, своей целеустремленной поглощенностью идеями, своей верой в разум и науку они проложили путь к русской революции и тем самым приобрели важную историческую значимость. Но все они слишком часто третировались английскими и американскими историками с характерной смесью снисхождения и морального отвращения. Причина состояла в том, что теории, которым они были столь горячо преданы, не были их собственными, они были заимствованы с Запада и поняты несовершенным образом. Потому что в своей фанатичной преданности идеологиям крайнего толка они одержимо рвались, как и бесы Достоевского, к слепому самоуничтожению,

---

<sup>1</sup> Foucault M. *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. London: Routledge. 2001; Neal A.W. *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism. Liberty, Security and the War on Terror*. London, New York: Routledge., 2010. P. 117–140.

таща за собой свою страну, а впоследствии и весь остальной мир. Русская революция и ее последствия во многом усиливали убежденность, глубоко укоренившуюся в англо-саксонской системе представлений: неистовый интерес к идеям является симптомом умственного и морального расстройства»<sup>1</sup>.

Напротив, Майкл Манн в работе «Темная сторона демократии» стремится объяснить особенности насилия и террора XX века не национальными особенностями, но, прежде всего, спецификой марксистской идеологии, а также логикой классовой борьбы и гражданских войн, побуждавших революционеров России, Китая и Камбоджи к радикализации политических программ. В процессе их реализации «создавались партийные государства, воплощавшие высокоидеологизированный и милитаристский социализм»<sup>2</sup>. Разработав «органическую концепцию народа не по этнической, а по классовой принадлежности», новая власть «взвинчивала революционный террор до последнего предела», практикуя *политицид* — уничтожение всех оппозиционно настроенных слоев общества, а затем и *классицид* — физическую ликвидацию всех «враждебных классов», противостоящих «пролетариату»<sup>3</sup>.

В своих беседах с Д.А. Холлом, опубликованных в 2011 году, М. Манн доказывал, что ценой «ужасных злодеяний», особенно сильно затронувших «крестьян в ходе принудительной коллективизации Сталина и Великого скачка Мао», сталинский и маоистский режимы в свое время не только доказали успешность моделей государственного социализма, но и «по крайней мере учились не совершать такого впредь, а Вьетнаму удалось достичь роста без массовых репрессий»<sup>4</sup>. Порочность советского авторитарного государства, созданного на основе террора, окончательно обнаружилась в эпоху перехода «из индустриальной фазы к постиндустри-

---

<sup>1</sup> Berlin I. Russian Thinkers. London: Penguin Books, 1978. P. XIII-XIV.

<sup>2</sup> Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. М., 2016. С. 561.

<sup>3</sup> Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. М., 2016. С. 562.

<sup>4</sup> Манн М. Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом. М., 2014. С. 28.

альной, когда централизованное государственное планирование выглядит уже не таким уместным»<sup>1</sup>.

Довольно близкий к методологии М. Манна способ анализа был еще раньше применен Баррингтоном Муром для характеристики французского революционного террора. «Опыт террора и в целом Французской революции, — отмечал он, — дал сильный импульс влиятельному течению западной политической мысли, которая отвергает любые формы политического насилия. Сегодня многие образованные люди, похоже, все еще считают террор демоническим выплеском массового насилия, неразборчивого в выборе жертв, а затем и выражением слепой ненависти и экстремизма, даже особой утопической ментальности, лежащей в основе тоталитаризма XX в. Я попытаюсь показать, что эта интерпретация искажена и карикатурна»<sup>2</sup>.

Основные аргументы, выдвинутые Муром для обоснования своей теоретической позиции, могут быть сведены к следующим принципиальным положениям: 1. Террор в революционной Франции проявлялся в двух основных формах — *спонтанной (санкюлотской)*, ставшей импульсивным ответом на «невероятное обнищание людей» при старом порядке, постоянно порождавшем «трагическую меру бессмысленных смертей год за годом»; и *целенаправленной*, проявившейся в попытке Робеспьера и его сторонников подчинить народный порыв «некоторому рациональному и централизованному контролю», превратив террор в «эффективный инструмент политики»; 2. «Радикальная революция» и террор, отражая антикапиталистические настроения городской бедноты и крестьянства, продвигали вперед «буржуазную революцию», преодолевая попытки «консервативной части движения» остановить революционный процесс; 3. «Пожар революции, включая ее насильственные и радикальные аспекты» был во Франции неизбежен, поскольку «базовая социальная структура во Франции была фундаментально иной и поэтому исключала такой тип мирной трансформации, который Англия перенесла в XVIII–XIX вв.»; 4. Насилие и террор, сделав буржуазную

---

<sup>1</sup> Манн М. Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом. М., 2014. С. 29.

<sup>2</sup> Мур Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М., 2016. С. 102.

революцию необратимой, хотя и внесли в дальнейшем элемент нестабильности в формирование политических институтов во Франции, «были в конечном счете благоприятными для развития парламентской демократии. Революция нанесла смертельную рану всему комплексу взаимосвязанных аристократических привилегий: монархии, земельной аристократии, сеньориальным правам, — комплексу, который конституировал существо старого режима. Она сделала это во имя частной собственности и равенства перед законом. Отрицать, что доминирующее направление и главные последствия революции были буржуазными и капиталистическими, значило бы заниматься тривиальной болтовней»; 5. Якобинский террор способствовал тому, что Франция, резко сократив временной период «догоняющего развития», в конечном итоге не только пошла по тому же пути, на который в разное время вступили Великобритания и США, но и смогла избежать итальянского и немецкого трагического опыта фашистских диктатур<sup>1</sup>.

Все приведенные выше основные особенности и линии аргументации нашли отражение, а в некоторых случаях даже были значительно усилены, на различных этапах разработки И. Валлерстайном его концепции миросистемного анализа эволюции экономических и социально-политических структур в эпоху модерна. В частности, радикализм Французской революции и наполеоновских войн Валлерстайн рассматривает как последнюю попытку капиталистических сил, «которые базировались во Франции», «сломить надвигающуюся британскую гегемонию» на второй, «меркантилистской» стадии формирования современного мира-экономики<sup>2</sup>. Русская революция 1917 года стала началом четвертой стадии. «Эта стадия, несомненно, должна была стать стадией революционных беспорядков, но она одновременно стала, парадоксально на первый взгляд, стадией *консолидации* мироэкономики промышленного капитализма»<sup>3</sup>. С конца XIX века Россия в результате заметного проникновения иностранно-

---

<sup>1</sup> См.: Мур Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М., 2016. С. 102–107, 371.

<sup>2</sup> Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 47.

<sup>3</sup> Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 51.

го капитала в промышленный сектор стала стремительно утрачивать статус полупериферийной страны, соскальзывая «к периферийному статусу». Радикальная революция и создание СССР, обеспечив народную поддержку пришедшей к власти «группе государственных управленцев», позволили стране в сжатые сроки не только восстановить «свое положение как очень сильного члена полупериферийного сообщества», но и «начать бороться за обретение полноправного статуса в сердцевине»<sup>1</sup>. В этом плане СССР опередил Германию, потерпевшую поражение в Первой мировой войне и в дальнейшем уже в форме нацизма предпринявшей неудавшийся «отчаянный рывок», чтобы вновь «обрести уходящую из-под ног почву» и сравняться экономической и политической мощью с США и Великобританией<sup>2</sup>.

Исходная позиция сравнительного анализа Валлерстайном опыта социальных трансформаций во Франции и России во многом совпадает с теорией М. Манна и вполне закономерно подводит к необходимости вновь оценить роль и значение революционного террора в принципиально различных исторических ситуациях. Подчеркивая, что сам факт использования террора не превращает Робеспьера в предтечу Ленина, а якобинцев — в агентов Коминтерна, Валлерстайн в основном разделяет позицию представителей школы «социальной интерпретации» (Д. Герен, Г. Руде и др.), настаивающих на «унитарном», т.е. буржуазном характере Французской революции, каковой она оставалась даже на пике якобинской диктатуры<sup>3</sup>. Тем самым он определенно отмежевывается от концепции Теды Скокпол, утверждавшей, «что Французская революция не была “буржуазной” и что она несопоставима с Английской революцией... В той же большей или меньшей степени, “что и любая буржуазная революция, это была бюрократическая, включающая массы и усиливающая государство революция”, и в этом смысле уместно ее сравнение с Русской и Китайской революциями XX века»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 51.

<sup>2</sup> Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. С. 51–52.

<sup>3</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 1730–1840-е годы. М., 2016. С. 134, 136–137.

<sup>4</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха великой экс-



Эта концепция жестко противостоит так называемой «атлантической теории», сторонники которой рассматривают революцию во Франции как составную часть «единой революции Запада», которая «определяется атлантистами как “либеральная”, или “буржуазная” революция... Кроме того, атлантисты обычно интерпретируют якобинскую фазу как “революционизирование революции” — революции, которая тем не менее была “радикальной с самого начала», тем самым противопоставляя ее Русской революции, которую они рассматривают «как часть “незападной революции” XX века»<sup>1</sup>.

В целом И. Валлерстайн, в отличие от М. Манна и Б. Мура, не проявляет особого интереса к вопросу — какую роль играл революционный террор в конструировании «модерного государства, расположенного в рамках межгосударственной системы и ограниченного ею»<sup>2</sup>. Однако он косвенно отвечает на данный вопрос, подчеркивая, что Французская революция и ее наполеоновское продолжение «выпустили джинна из бутылки» и «сделали идею народного суверенитета тем, с чем приходилось мириться любому правительству современного мира... К удивлению реставраторов глобального порядка, это была идея, которая укоренилась больше, чем они это осознавали: они не могли ее похоронить, как бы этого ни хотели»<sup>3</sup>. Поэтому «проблема для нотаблей заключалась в том, каким образом сконструировать некую структуру, которая будет казаться народной, а на самом деле не будет являться таковой, но тем не менее будет сохранять поддержку значительной части “народа”. Такая задача окажется непростой. Ее историческим решением и станет либеральное государство»<sup>4</sup>.

Однако исторический опыт явно свидетельствует о том, что в решении этой задачи либеральные государства постоянно сталки-

---

пансии капиталистического мира-экономики, 1730–1840-е годы. М., 2016. С. 61.

<sup>1</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 1730–1840-е годы. М., 2016. С. 48–49.

<sup>2</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том IV. Триумф центристского либерализма, 1789–1914. М., 2016. С. 26.

<sup>3</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том IV. Триумф центристского либерализма, 1789–1914. М., 2016. С. 26.

<sup>4</sup> Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том IV. Триумф центристского либерализма, 1789–1914. М., 2016. С. 27.

вались с серьезным противодействием и нередко терпели поражение. В 1920–1930-е годы на большей части европейского континента — от России до Италии и стран Пиренейского полуострова — либеральные порядки были практически стерты с лица земли совместными усилиями левых и правых радикалов, установивших жесткие авторитарные и тоталитарные режимы в результате серии успешных политических революций. Сразу после окончания Второй мировой войны основные причины краха либеральной идеологии и политики были выявлены в знаменитом «антилиберальном манифесте» — «Человек науки против политики власти» (1946), написанном Г. Моргентау, создателем современной версии теории политического реализма<sup>1</sup>. «В рациональной общественной системе, — отмечал он, — нет места насилию. Поэтому для среднего класса жизненно важной (как в практическом, так и в интеллектуальном плане) становится проблема — каким образом избежать вмешательства извне, в особенности — насильственного вмешательства, поскольку тончайший механизм социальной и экономической системы предполагает рациональность мира в самом широком смысле этого слова. Возвышая эту проблему до уровня абсолютно непогрешимого философского и политического постулата, либерализм упустил из виду как уникальность, так и совершенно исключительный характер того опыта, в рамках которого эта проблема возникла. Ведь отсутствие организованного насилия в течение длительных исторических периодов является скорее исключением, чем правилом во внутренних, но не в меньшей степени и в международных отношениях»<sup>2</sup>.

В последующие десятилетия на передний план выступила тенденция антилиберальной мысли и критики, которая всегда развивалась параллельно вместе с самим либерализмом и практически никогда не прекращала своего существования. Одновременно все более явственными становились противоречия современного либерализма как в политическом, так и в этическом и культурном

---

<sup>1</sup> *Morgenthau H.J. Scientific Man versus Power Politics. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1967. P. 2–10, 42–50.*

<sup>2</sup> *Morgenthau H.J. Scientific Man versus Power Politics. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1967. P. 49.*

плане. «Другой глубокий парадокс современного либерального упорядочивания жизни, — отмечает Р. Бейнер, — состоит в том, что, усиливая в высшей степени ограниченное видение достоинства и уникальности индивида в рамках его или ее отдельной субгруппы, он одновременно предлагает коллективный образ жизни (“американизм”), который, быстро распространяясь, опутывает земной шар... Либерализм не в меньшей степени, чем социализм, феодализм или любой другой социальный порядок, — это глобальной устройством, т.е. образ жизни, который исключает другие образы жизни»<sup>1</sup>.

Самим же либералам некоторыми философами и политическими теоретиками XX века нередко отводилась довольно одиозная роль «родоначальников» реакционных праворадикальных движений, включая национал-социализм и фашизм. «Либерализм, — писал Т.В. Адорно, — выпестовавший культуриндіустрию, формы рефлексии которой навлекли на себя негодование жаргона подлинности, хотя и он сам является одной из них, был предтечей фашизма, который растоптал как своего прародителя, так и позднейших его сторонников»<sup>2</sup>.

Весьма характерно, что большинство представленных выше объяснительных моделей исходят, как любили говорить немецкие ученые в прошлом веке, *von großen Voraussetzungen* (из больших предпосылок), ограничиваясь при этом лишь «подведением итогов» террористической политики партий и государств в XVIII–XX веках. Различные аспекты дискуссии вокруг самого феномена насилия и терроризма, а также роли государства в их сдерживании или, наоборот, распространении затрагиваются в них лишь косвенно, поскольку террор как таковой нивелирован до уровня сегмента (более или менее существенного) макропроцессов и структур, определяющих эволюцию к индустриальному и постиндустриальному типу общества. Независимо от того, содержится ли в этих моделях осуждение революционного насилия или же оно оценивается положительно и нейтрально, характер и уровень анализа

---

<sup>1</sup> Beiner R. What's the Matter with Liberalism? Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1995. P. VIII.

<sup>2</sup> Адорно Т.В. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии. М., 2011. С. 58.

довольно резко контрастирует с работами ученых, специализирующихся непосредственно в области изучения современного терроризма и его истоков. Полезный эффект макросоциологических теорий проявляется, в частности, в дополнительном теоретическом обосновании традиционного для классического марксизма и либеральной теории историософского вывода об амбивалентной роли революции, террора и насилия в формировании институтов либеральной демократии и в таких «классических» странах, как США, Великобритания и Франция, и в странах, позднее вступивших на путь модернизации и переживших по этой причине негативный опыт авторитарных и тоталитарных диктатур (Италия, Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы, коммунистический Китай и др.).